

## Г. Н. ПОТАНИН

### ВСТРЕЧА С С. Ф. ДУРОВЫМ

*Опубликовано в сборнике «на славном посту», посвященном идеологу русского народничества Н. К. Михайловскому (СПб, 1901).*

Это было весной 1857 г. в Омске. Сергей Федорович Дуров, один из петрашевцев, содержавшийся в Омском военном остроге, получив свободу, остался в Омске на зиму, чтобы дожидаться теплого времени; летом он хотел уехать в Россию; в остроге он нажил мучительный ревматизм и не решался даже с началом весны тронуться в путь; поджидал еще более теплых дней. В это-то время меня познакомил с ним мой товарищ по школьной жизни, киргизский султан Чокан Валиханов, и вот по каким побуждениям.

Я был в это время казачьим офицером. Прослужив несколько лет в полку на Иртыше и на Алтае, я был вызван в Омск для службы в Войсковом казачьем правлении. Мой однокашник Чокан Валиханов (мы вместе учились в Омском кадетском корпусе) нередко заезжал ко мне по вечерам, и мы много спорили по поводу тогдашних направлений в журналистике; во многих пунктах наши взгляды не сходились, мы горячились, сердились друг на друга и на самих себя и расходились очень раздраженными. Что мы теперь расходились во мнениях, хотя на школьной скамье наши мнения были одинаковы, это было понятно. По выходе из кадетского корпуса я уехал из Омска и провел несколько лет в глухих казачьих станицах, в тысяче верст от Омска, умственного центра Западной Сибири, тогда как мой друг Чокан в это время жил в этом умственном центре, принадлежал к свите генерал-губернатора (он был его личным адъютантом) и вращался в лучшем обществе. Пока я жил в захолустном Алтае, кончилась севастиопольская кампания, ослабли цензурные тиски, появились новые веяния и мечты; Чокан постепенно усваивал новые идеи, приносимые книжками журналов, и, когда я вернулся в Омск, это был преобразованный человек, а я остался при тех взглядах, с какими вышел из кадетского корпуса.

Склад политических воззрений, с которыми я и мои сверстники вышли тогда из корпуса (1852 г.), можно было назвать политическим доверием или политическим двоемыслием. Сразу не поймешь, каким образом могли в нас уживаться симпатии к совершенно противоположным вещам, каким образом мы могли одновременно принадлежать к двум враждебным лагерям. Учебным делом в корпусе руководил инспектор классов Ждан-Пушкин\*<sup>1</sup>, и ему были мы, конечно, обязаны своим воспитанием; это был прекрасный, благородный педагог, и в его программу, вероятно, не входило создать из нас таких двоеверов; это вышло само собою.

Его намерением было только сделать из нас рыцарей, способных бесстрашно прямить царю. С этой целью он старался лучше поставить наше религиозное воспитание и преподавание всеобщей истории. Для преподавания истории он пригласил Гонсевского; это был молодой, чрезвычайно застенчивый поляк; хотя по тогдашней программе преподавание истории должно было кончаться 1815 годом, Гонсевский довел свой рассказ до 1835 г. и, таким образом, запретный период сократил наполовину. Историю французской революции 1789 г. он рассказал подробно и сделал из нас республиканцев; Лафайот\*<sup>2</sup> и Демулен\*<sup>3</sup> стали нашими любимцами.

В Омск приехал из Петербурга для ревизии генерал-адъютант Анненков. В день восшествия на престол императора Николая I в городском соборе был [отслужен] молебен и [в городе состоялся] парад; за обедней [наш учитель] Сулоцкий говорил проповедь о значении миропомазания. Ему хотелось как можно резче выразить, какая сила перерождения заключается в этом таинстве, какая разница между помазанником и человеком непомазанным; разъяснив, что такое значит священная особа императора, оратор задал вопрос: «А что же такое был император Николай I до помазания?», - и ответил: «Всего только кирасирский полковник». Петербургский генерал сильно смутился, но ему объяснили, что тривиальное выражение выскочило у проповедника без

дурного намерения, от недостатка навыка в официозном языке. Инцидент окончился благополучно, без дурных последствий.

Третий учитель, имевший влияние на формирование наших убеждений и правил жизни, был Костылецкий, преподаватель русского языка и истории русской словесности. Двое предыдущих, Гонсевский и Сулоцкий, были мирные проповедники истины, в их спокойной речи не было протеста; не в том роде был Костылецкий.

В классах он нам ничего не рассказывал и не читал курса, а к концу года приносил записки по истории русской литературы, по которым мы должны были готовиться к экзамену. Впоследствии, может быть, лет через десять мы узнали, что эти записки Костылецкий составлял по критическим статьям Белинского, тайным поклонником которого он был. В классах же Костылецкий все время или занимался грамматическим разбором, или заставлял декламировать стихи и избранную прозу, или «заставлял нас писать сочинение. Во время этих классных занятий он часто вставлял свои замечания, которые нередко приобретали характер ядовитых насмешек; он поднимал на смех наши маленькие ученические грехи, но не щадил и начальства, которому здорово-таки от него доставалось. Эти его ядовитые заметки и вставки, сыпавшиеся в процессе учебных занятий, сливались в нашей памяти [и формировали в душе] непрерывный протест против глупости, пошлости, ложного мишурного блеска, против бездарности, пользующейся незаслуженной почестью, и т. п. В Гонсевском и Сулоцком мы признавали большое количество знаний, Костылецкий действовал на нас своим умом. Те двое расскажут свою лекцию с кафедры и уйдут, Костылецкий же всегда вел практические занятия, поэтому отношения его с отдельными учениками были чаще, он лучше знал каждого ученика в отдельности, давал ученикам меткие клички и, вышучивая отъявленных лентяев и тупоголовых, вносил свое участие в нашу товарищескую жизнь. У Гонсевского и Сулоцкого мы учились думать, у Костылецкого — жить.

Благодаря такому составу учителей мы вышли из корпуса с большим интересом к общественным делам. Еще на школьной скамье мы задумывались, как мы будем служить прогрессу. Любовь к прогрессу у нас включалась в любовь к Родине. Ждан-Пушкин хотел, чтобы любовь к Родине являлась руководящей идеей в будущей нашей жизни, и любовь к России действительно стала религией нашего сердца.

О прогрессе вообще мы могли думать не иначе, как только так, что мы будем толкать Россию по пути прогресса. Мы смотрели на себя как на будущих борцов, и реформы могли быть встречены нами только рукоплесканиями. Мы даже сочувствовали революциям там, где общество не могло мирными средствами проложить путь к прогрессивным учреждениям; мы поклонялись Петру Великому, но за современную нам Россию мы были спокойны. Конечно, мы не представляли себе русскую жизнь в розовом свете, но нам казалось, что недостаток ее заключается только в дурных нравах, и что люди с добрыми намерениями не лишены инициативы в деятельности, направленной к исправлению нравов. Стоявшие перед нами задачи казались нам гораздо более легкими, чем они были на самом деле; с действительными отрицательными сторонами русской жизни мы были незнакомы, и дезидераты перед нами не были поставлены. Гласность, свобода слова, суд присяжный, самоуправление — все это термины, которые совсем не существовали в нашем словаре; выражения: крепостное право, крепостной стол, я помню, вызывали в моем уме представление о крепостных стенах с зубцами и башнями, так как истинное значение этих выражений сибирская жизнь нам не могла подсказать: в Сибири не было крепостного сословия, и я о его существовании узнал чуть ли не через десять лет по выходе из корпуса.

Мы представляли себе Россию несущейся вперед, не встречающей препятствий. Вместе с Костылецким, превосходно читавшим Гоголя и однажды с большим пафосом прочитавшим последнюю страницу «Мертвых душ», мы верили в картину, изображавшую наше отечество в виде скачущей тройки; тройка мчится, дух захватывает, и народы сторонятся с дороги; конями управляет опытная рука, и тарантас ни в ров не угодит, ни на

камень не наткнется: мы верили, что управляющий лошадьми воодушевлен идеей прогресса еще более, чем мы. Молодому уму обидно, если новое, ему современное, оказывается хуже старого; новые люди лучше людей старого века, современный царь должен быть способнее старого царя; мы соглашались, что Петр Великий был гений, но не могли допустить, чтобы современный нам император Николай I был ниже его; это значило допустить регресс России; Николай I должен быть умнее Петра, и мы ласкали себя этой верой, поддержку которой мы находили в вырывавшихся иногда откровенных признаниях нашего учителя Костылецкого, того самого Костылецкого, который сатанински издевался над омскими генералами и подрывал в нас к ним всякое уважение.

Да, мы были политические двоеверы, может быть, вроде Карамзина, который о себе писал, что он в душе республиканец, хотя в то же время искренне любит своего монарха как верноподданный, или, может быть, вроде тех иркутян прошлого века, которые два раза недовольные царскими воеводами поднимали против них бунт, заковывали их в кандалы, садили в острог, а на воеводский стул сажали сыновей этих воевод, грудных ребят, вводили казачий круг, т. е. казачью республику, учреждали народное правительство, а в Москву отписывали, что они выправили царскую службу и сокрушили крамолу против царя.

Таким двоевером я вернулся с Алтая в Омск. В промежуток времени между моим выходом из корпуса и возвращением в Омск совершились государственные события: умер император Николай. Я и мои товарищи были в отчаянии: война, а мы лишились вождя, а в этом вожде мы воплощали всю силу, все могущество России; нам казалось, что молодой государь не справится с задачей, и что теперь само небо обрушится на Россию. За этим ударом следовал другой — падение Севастополя, отчаяние еще усилилось; купцы и приказчики в Семипалатинске, где я в это время жил, читавшие газеты, сидя у своих лавок в гостином дворе, плакали; мы, молодые, сочли положение отечества безнадежным; мы думали, что теперь союзники свободно пронесутся до Москвы, и государство будет раздроблено. Но, слава богу, ничего подобного не случилось, мы остались целы. При новом царе жизнь пошла тем же порядком, без остановки; после падения Севастополя был заключен мир, постыдный для нас, как мы, впрочем, узнали о том только впоследствии, но журналы после этого стали интереснее; жить стало не только не хуже, а даже лучше, чем до войны.

Когда я переехал в Омск, появился катковский «Русский вестник» и в нем «Губернские очерки» Щедрина и статья Громеки «Полиция вне полиции», сделавшие сенсацию и у нас в Омске. Все это я читал с увлечением, но Чокан, который меня навещал в Омске, напрасно бился со мною: я оставался по-прежнему двоевером. Когда он после спора уезжал от меня, я сознавал себя большим невеждой, но все-таки не уступал; слишком глубоко вкоренились во мне те симпатии, которые он хотел разрушить.

Однажды Чокан предложил мне поехать к одному своему знакомому. Он говорил мне про него, что это человек с таким многосторонним образованием и с такой изящной душой, какого я еще не видывал, что он бывает в доме К[апустин]ых, и там он любимый гость, а это был дом, в котором собиралась лучшая омская молодежь. Через несколько дней Чокан снова явился ко мне, и мы поехали к Дурову.

Дуров жил на Мокром (так называется часть города Омска, расположенная в треугольнике между берегом реки Оми, горой и площадью); дом, в котором квартировал Дуров, выходил на площадь. Этот ряд домов, когда-то бывший казовой линией Мокрого, теперь заслонен новыми каменными постройками. Мы подъехали к дому Дурова, когда было еще светло, около часу оставалось до сумерек. Когда мы вошли в комнату, к нам вышел человек среднего роста с сутулой спиной, черными волосами и черными глазами; глаза болезненно блестели; иногда от него доносилось затхлое дыхание, как от чахоточного. Дуров занимал две комнаты; одна, побольше, была вместо зала, в другой была его спальня и кабинет. Два окна большой комнаты, выходявшие на площадь, были почему-то закрыты ставнями, так что комната освещалась только одним окном,

выходившим во двор.

Дуров позвал слугу, чтобы распорядиться о чае, и когда тот пришел, Дуров начал с братским участием расспрашивать его о какой-то болезни, приключившейся с ним, что ему сказал доктор, и купил ли он лекарства, и потом попросил его поставить самовар: «Поставьте, пожалуйста, самовар!» Это обращение со слугою на «вы» было для меня неожиданностью; я почувствовал, что очутился в какой-то новой для меня сфере.

Чокан не остался у Дурова пить чай, ему куда-то нужно было спешить. Он наскоро передал ему городские новости, рассказал, как он вчера был дежурным в доме генерал-губернатора, как генерал в пух и прах распек какого-то чиновника и в заключение приказал Чокану отвести этого чиновника на гауптвахту, и когда они вдвоем подходили к гауптвахте, как два чиновника, ранее посаженные под арест, сидевшие на веранде и игравшие в шашки, завидев идущих, радостно вскричали: «Ведут, ведут!» («Да это страничка из Диккенса!» — вставил Дуров); простился, сказал, что он меня может здесь оставить одного, и уехал. Мы с Дуровым вдвоем. Чокан уже сказал ему, что я подал в отставку и собираюсь поехать в Петербург, чтобы поступить в университет. Дуров поинтересовался узнать, какие были такие особые обстоятельства в моей жизни, что из меня не вышел обыкновенный казачий офицер, дающий киргизам вперед товар и потом собирающий долги баранами. Я рассказал ему, что детство мое было исключительное, что я попал в семью одного полковника\*<sup>4</sup>, который, хотя служил в казаках, но был из России, родом немец; жена его была образованная дама. Я жил в этой семье на одних правах с другими детьми этой дамы; мы вместе играли и вместе учились; мать семейства по вечерам собирала нас вокруг себя и заставляла читать рассказы из детских журналов. Из этой семьи я поступил в кадетский корпус, как я теперь думал, уже облагороженным казачонок; словом, я приписывал этой даме выдающееся влияние в моей жизни. Тут произошло то, что я никак не ожидал; Дуров был растроган моим рассказом, хотя он был сух, как протокол. Он назвал мою благодетельницу святой женщиной, припомнил других таких женщин, которых он сам знал, и так живо представил себе доброжелательную женскую натуру, о которой я рассказал ему, с таким теплым участием стал просить еще о ней рассказать, что у меня невольно вырвался вопрос: «Вы ее знали?» «Нет», — ответил он, и я отчего-то сконфузился.

Пламенная речь Дурова перешла потом на другую женщину. К. И. К[апусти]на была мать большого семейства и жила со своим мужем в Омске. Это было чисто сибирское семейство; тем драгоценнее был этот факт. Дуров несколько раз назвал ее святой женщиной, в ее гостиной он находил радушный прием. Он ценил это, потому что во всех других омских домах его чурались, как опасного человека. Может быть, потому он и к моему рассказу так горячо отнесся, что нашел некоторое сходство в моих отношениях к моей благодетельнице со своими к К. И. К[апустино]й. В одном случае женской рукой обласкан осиротевший казачонок, в другом изгнанник из интеллигентного общества, униженный и оскорбленный.

Меня подкупила эта восприимчивость Дурова к чужому чувству, способность быстро проникаться чужим душевным состоянием. Я в первый раз видел перед собою человека, экзальтированного гуманными идеями.

Я не помню, спросил ли он меня, зачем я хочу учиться и какое употребление сделаю из знаний, которые надеюсь приобрести, но я уверен, что он не приписал мне меркантильных расчетов, потому что отнесся к моему намерению с полным сочувствием. С подъемом духа, который начинает охватывать Россию, говорил Дуров, жаждающие знания стали появляться в такой среде, в таких захолустьях, откуда прежде этого нельзя было бы ожидать. Дуров говорил, что эти ростки новой силы, выходящей из русской земли на смену погибшим поколениям, радуют его и укрепляют в нем веру в русский народ, но он опасался за прочность движения и спрашивал: это оживление русского общества не временное ли только? Молодежь увлечется, ринется вперед, а жизнь возьмет да и прихлопнет ее.

Он не доверял совершавшемуся в русской жизни [движению] и думал, что тут скрывается западня. А между тем он считал своей святой обязанностью уважать всякое стремление к знанию. Он мне рассказал, что к нему иногда заходит господин, помешанный на отыскании *perpetuum mobile*\*<sup>5</sup>. Математические выкладки этого господина были безнадежны, но Дуров с удовольствием наблюдал в этом человеке бескорыстную преданность идее, настойчивость и твердость, с которой он переносил неудачи. Дуров как будто прежде всего спешил почтить подвиг труда, а потом уже результаты труда.

В половине вечера я был уже очарован беседой Дурова. Мне было очень приятно, что всему, чему я сочувствовал, сочувствовал и он, но я не мог с тем же умением защитить свои вкусы, тогда как он подробно излагал мотивы своих симпатий.

Потом разговор зашел о сибирских властях, о предмете, меня сильно интересовавшем. Генерал-губернатором Западной Сибири тогда был Гасфорт, не раз изображавшийся в «Искре» под именем Оксенкопфа. О нем рассказывали целую кучу анекдотов — как он хотел поставить себе монумент в Березове в память посещения им этого города, как начал строить вооруженные казармы в Омске, из которого за тридцать лет не доскачешь ни до какой неприятельской границы, как он составлял проект религии, промежуточной между православием и мусульманством, и хотел представить этот проект на высочайшее усмотрение. В крае царил бесшабашное взяточничество и казнокрадство; мы, маленькие люди, стоявшие внизу, снизу все это хорошо видели и знали, а наивный генерал имел смелость думать, что он всюду видит, и что у него все обстоит благополучно.

Я уже был порядочно заряжен антипатиями к тогдашней администрации Западной Сибири или, вернее, к гасфортовской клике, и мне было приятно слушать Дурова, когда он не стеснялся в сильных выражениях, перебирая ее грехи и преступления. Мне понравилось также, что Дуров выдвигал право молодости. Только что произошел случай: один генерал раскричался публично на подчиненного молодого человека, тот обиделся и что-то ответил, генералу ответ показался дерзостью, он раскричался пуще прежнего и начал поучать юношу, что если у старого человека сорвется с языка неуместное оскорбительное слово, то ему позволительно ввиду его седин и его заслуг, а что молодого человека его молодость обязывает обуздывать себя в разговоре со старшими, и повышение голоса для молодого человека непозволительно. «Совершенно наоборот, не правда ли?» — спрашивал меня Дуров. От человека, дожившего до седин, кажется, скорее бы надо требовать умения управлять своими страстями и языком, чем от молодого человека.

Я тогда еще не понимал, что дело в системе управления, а не в отдельных личностях. Мне представлялось, что разные бездарные и нечестные личности случайно залезли в Сибирский край, и что вся сила в них. Ирония над краем заключалась в том, что стоящим внизу, в толпе, отлично было видно, кто где ворует, что все воруют и берут взятки, а генерал, сидящий наверху, думает, что он водворил в крае закон, и что толпа благоденствует, благословляет его и хочет поставить ему памятник. И никто не соберется рассказать ему, как смешно это самообольщение толпе, стоящей внизу; и я тоже не решаюсь выступить, потому что рядом со мною есть люди, более меня образованные, более знающие, но они не выступают, и мне не хочется быть выскочкой. Я терялся в догадках о средствах борьбы и надумал только одну идею: нужно, чтобы явился свой, сибирский Гоголь. Дуров, однако, развенчал мою идею. Смех, сказал он, слабое, недейственное средство: смех примиряет со злом. Портреты Ноздрева, генерала Бетрищева, Сквозник-Дмухановского забавляют нас, а не удручают. Скучно — глянешь на эту русскую галерею, расхохочешься и повеселеешь. Нужен не смех, а прямое урезание зла.

С сибирской администрации разговор перешел на внутреннюю политику только что окончившегося тридцатилетия, которое, как я сказал, казалось мне самой славной страницей русской истории.

Конечно, Дуров был иного мнения о значении этого тридцатилетия. Он говорил с воодушевлением, как будто торопился. Мне запомнилась одна из манер его речи. Когда он задумывался, как построить красивую фразу, то, чтобы выиграть время, повторял по нескольку раз первое слово фразы; например, если это было вставочное предложение, начинавшееся с местоимения «который», то он быстро повторял: который, который, который, пока не находил приличную фразу. Мне пришлось выслушать горячий протест человека, раздавленного режимом только что минувшего тридцатилетия, я понял, что та же лавина раздавила бы и меня, если бы ее движение не остановилось. Я не знаю, как бы я отнесся к этому развенчанию славной страницы, если бы оно пришлось в самом начале нашей беседы с Дуровым, но теперь, в конце вечера, я легко перешел в другую веру, потому что между моей старой симпатией и ее отрицанием стоял апостол прогресса, к которому я теперь чувствовал сердечное влечение. Со мной совершился переворот. Я ушел от Дурова тем, до чего меня хотел довести мой друг Чокан. Собственно, это не был переворот: мое идейное содержание было уже сформировано в приблизительном духе, чего-то немного не доставало, чтобы переменить кличку. Это как с детскими кубиками: вот сложена из них картина — индийский магараджа и его свита едут на слонах, украшенных коврами и перьями, тропический пейзаж, но кубики перемешаны, — только полминуты времени, и дружеской рукой они приведены в новый порядок: кубики те же самые, но лежат другими боками кверху, и картина уже другая: Афины, Акрополь и Пантеон.

Больше я Дурова не видал: он уехал в Россию. Впоследствии, когда я уже был в Петербурге, я слышал от Чокана, что Дуров поехал лечиться от ревматизма за границу и застрелился где-то в Южной Германии или в Швейцарии.

В начале семидесятых годов я узнал, что [И. А.] Пальм, тоже петрашевец, вывел Дурова в своем романе «Алексей Слободин» под именем Рудковского. Когда я прочитал относящиеся [к Дурову] страницы в романе, я был огорчен тем изображением, каким стал мой апостол под пером Пальма. Правда, портрет Дурова и у Пальма написан в сочувственном тоне, и он говорит о способности Дурова действовать своими речами на слушателя даже тогда, когда последний оказывался богаче знаниями оратора; это Пальм объясняет тем, что Дуров (Рудковский) был одарен чутким пониманием ближайшей истины, которая стояла на очереди. Но все-таки портрет вышел бледный, вместо интересного проповедника тут описан либеральный департаментский чиновник. Речи, вставленные в уста Дурова (Рудковского), не зажигательны; главное, нет протестующей Дуровской души. Я, конечно, не пишу художественную критику, я рассказываю только, как мои субъективные ожидания не оправдались. Пальм часто выводит Рудковского даже при гостях в халате, что ему иногда придает комический вид. Какая досада! Халат остался, а чувства Дуровские, душевная экспрессия, которая, как мне казалось, прежде всего бросилась бы в глаза, если бы Дуров был одет даже в рубище, не сохранились в памяти друга-романиста.

Может быть, Пальм и ближе к действительности, чем я; он дольше его знал и притом мог судить о нем как наблюдатель более зрелого возраста. Но тот ореол, в котором мне представился Дуров, я и теперь не могу выкинуть из своей головы. Может быть, я не более, как ребенок, которому морщинистое, слезливое и беззубое лицо его седой бабушки кажется самым милым лицом в мире; взрослый человек, в которого впоследствии превратился этот ребенок, мог бы и сам убедиться, в какой степени он обманывался, но бабушка умерла во время его детства, и он остался на всю жизнь с детским о ней представлением.

Пальмовский Дуров не тот, которого я слышал в Омске. Тот образ этого человека, который отпечатался в моей памяти после личного свидания, с годами порядочно выцвел, но не [был] вытеснен портретом, написанным Пальмом.

Для нас фетиш дикаря — простой обрубок дерева или тряпка, а для дикаря это личность, с которою связаны события его личной и семейной жизни, и нелегко ему

расставаться с этим семейным другом. Может быть, Дуров — мой фетиш, но, вернее, я думаю, Пальм был не в состоянии одухотворить своего героя до уровня действительности.

Примечания:

\*<sup>1</sup> *Ждан-Пушкин И. В.* — полковник, инспектор классов, один из образованных и гуманных воспитателей Омского кадетского корпуса, проявивший большую заботу о воспитании и развитии юного Чокана Валиханова.

\*<sup>2</sup> *Лафайет Мари Жозеф (1757-1834)*, маркиз, деятель Великой французской буржуазной революции конца XVIII в. и революции 1830 г., участник войны американских колоний за независимость от Англии.

\*<sup>3</sup> *Демулен Камиль (1760-1794)* — политический деятель Великой французской революции конца XVIII в., член Конвента, журналист, по профессии адвокат, выступал против жирондистов, но впоследствии примкнул к дантонистам, выразившим интересы новой буржуазии.

\*<sup>4</sup> *...я попал в семью одного полковника...* — Имеется в виду полковник Эллизен, командир пограничного отряда крепости Пресногорьковской.

\*<sup>5</sup> *perpetuum mobile* – вечный двигатель.

**Источник:** Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 5 – Алма-Ата, Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1985, 2-е изд. доп. и переработанное, стр. 335-343